



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

<Объяснения по делу Петрашевского и Приговор по делу Петрашевского>

<...> В сущности, я еще не знаю доселе, в чем обвиняют меня. Мне объявили только, что я брал участие в общих разговорах у Петрашевского, говорил *вольнодумно* и что, наконец, прочел вслух литературную статью: «Переписку Белинского с Гоголем»¹. Скажу от чистого сердца, что до сих пор для меня было всего на свете труднее — определить слово: *вольнодумец, либерал*. Что разуместь под этим словом? Человека, который говорит противузаконно? Но я видал таких людей, для которых признаться в том, что у них болит голова, — значит поступить противузаконно, и знаю, что есть и такие, которые готовы говорить на каждом перекрестке всё, что только в состоянии перемолоть их язык. Кто видел в моей душе? Кто определил ту степень вероломства, вреда и бунта, в котором меня обвиняют? По какому масштабу сделано это определение? Может быть, судят по нескольким словам, сказанным мною у Петрашевского. Я говорил три раза, два раза я говорил о *литературе* и один раз о предмете вовсе неполитическом: об *личности* и об *человеческом эгоизме*. Не припомню, чтоб было что-нибудь политического и вольнодумного в словах моих. Не припомню, чтоб я когда-нибудь высказался *весь, каков я на самом деле* у Петрашевского. Но я знаю себя, и если основывают обвинение на нескольких словах, схваченных налету и записанных на клочке бумаги, то я не боюсь даже и такого обвинения, хотя оно самое опасное, ибо ничего нет губительнее сбивчивее и несправедливее нескольких слов, вырванных бог знает откуда, относящихся бог знает к чему, подслушанных наскоро, понятых наскоро, а всего чаще вовсе непонятых, записанных наскоро. Но повторяю: я знаю себя и не боюсь даже и такого обвинения.

Да, если *желать лучшего* есть либерализм, *вольнодумство*, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец. Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который

в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своем и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему. Но это *желание лучшего* было в возможном или в не возможном? Пусть уличат меня, что я желал перемен и переворотов насильственно, революционерно, возбуждая желчь и ненависть! Но я не боюсь улики, ибо никакой донос в свете не отнимет от меня и не прибавит мне ничего, никакой донос не заставит меня быть другим, чем я на самом деле. В том ли проявилось мое вольнодумство, что я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать, не потому, чтобы опасались сказать что-нибудь против правительства (этого и в мысли не может быть!), но потому, что, по их мнению, предмет такой, о котором уже принято не говорить громко? В этом ли? Но меня всегда даже оскорбляла эта боязнь слова, скорее способная быть обидой правительству, чем быть ему приятною. И в самом деле, зачем правому человеку опасаться за себя и за свое слово? Это значит полагать, что законы недостаточно ограждают личность и что можно погибнуть из-за пустого слова, из-за неосторожной фразы. Но зачем же мы сами так настроили всех, что на громкое откровенное слово, сколько-нибудь похожее на мнение, высказанное прямо без утайки, уже смотрят как на эксцентричность! Мое мнение, что если бы мы все были откровеннее с правительством, то было бы гораздо лучше для нас самих. Мне всегда было грустно видеть, что мы все как будто инстинктивно боимся чего-то; что сойдемся ли мы, например, толпой в публичном месте, — мы смотрим друг на друга недоверчиво, исподлобья, косимся по сторонам, подозреваем кого-то. Заговорит ли кто-нибудь, наприм<ер>, о политике, то заговорит непременно шепотом и с самым таинственным видом, хотя бы республика была так же далека от его идей, как и Франция. Скажут: «Оно и лучше, что у нас не кричат на перекрестках». Без сомнения, никто и слова не скажет против этого; но излишнее умолчание, излишний страх наводят какой-то мрачный колорит на нашу обыденную жизнь, который кажется всё в безрадостном, неприветливом свете, и, что всего обиднее, колорит этот ложный; ибо весь этот страх беспредметен, напрасен (я верю в то), все эти опасения больше ничего, как наша выдумка, и мы сами только напрасно беспокоим правительство своею таинственностью и недоверчивостью. Ибо из этого натянутого положения часто выходит много шуму из пустяков. Самое обыкновенное слово, сказанное громко, получает гораздо более весу, а самый факт по своей эксцентричности принимает размеры иногда колоссальные и, наверно, припишется посторонним (необыкновенным), а не настоящим (обыкновенным) причинам. Я всегда был уверен, что сознательное убеждение лучше, крепче бессознательного,

неустойчивого, колеблющегося, способного пошатнуться от первого ветра, который подует. А сознания не высидишь и не выживешь молча. Сами мы бежим обобщения, дробимся на кружки или черствеем в уединении. А кто виноват в этом положении? Мы, мы сами и более никто, — я так всегда думал.

Хотя я и привел для примера наши общественные разговоры, а между тем я сам далеко не крикун, и то же самое скажет про меня всякой, кто меня знает. Я не люблю говорить громко и много даже с приятелями, которых у меня очень немного, а тем более в обществе, где я слышу за человека неразговорчивого, молчаливого, несветского. Знакомств у меня очень мало. Половина моего времени занята работой, которая кормит меня; другая половина занята постоянно болезнью, ипохондрическими припадками, которыми я страдаю уже скоро три года. Едва остается немного времени на чтение и на то, чтоб узнать, что на свете делается. Для приятелей и знакомых остается очень немного времени. А потому, если я и написал теперь против системы всеобщего, как будто систематического умолчания и скрытности, то это потому, что мне хотелось высказать свое убеждение, а вовсе не защищать себя. Но в чем же обвиняют меня? В том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре и проч. Но кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же я учился, зачем наукой во мне возбуждена любопытность, если я не имею права сказать моего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно? На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспрецедентная². Трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь в своем падении всю нацию. Тридцать шесть миллионов людей каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование, свое и детей своих! И эта картина не такова, чтоб возбудить внимание, любопытство, любопытность, потрясти душу? Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию европейскую, такое зрелище урок! Это, наконец, история, а история — наука будущего. И после этого неужели обвинят нас, которым дали известную степень образования, в которых возбудили жажду знания и науки, — неужели обвинят нас в том, что мы имели столько любопытства, чтоб говорить иногда о Западе, о политических событиях, читать современные книги, приглядываться к движению западному, даже изучать его по возможности. Неужели обвинят меня в том, что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого ноет и ломится надвое несчастная Франция, что я считаю, может быть, этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное (кто разрешит теперь это?) и которое приведет наконец за собой лучшее время. Дальше этого

мнения, дальше таких идей никогда не простиралось мое вольнодумство о Западе и о революции. Но если я говорил о французском перевороте, если я позволял себе судить о современных событиях, следует ли из этого, что я вольнодумец, что я республиканских идей, что я противник самодержавия, что я его подкапываю? Невозможно! Для меня никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России. Всем, кто знает меня, известны на этот счет мои идеи. Да, наконец, такое обвинение будет противно всем моим убеждениям, моему образованию. Я, может быть, еще объясню себе революцию западную и *историческую необходимость* тамошнего современного кризиса. Там несколько столетий, более тысячелетия, длилась упорнейшая борьба общества с авторитетом, основавшимся на чуждой цивилизации завоеванием, насилием, притеснением³. А у нас? И земля-то наша сложилась не по-западному! У нас исторические примеры перед глазами: 1) падение России перед татарами от ослабления авторитета и раздробления его, 2) безобразие республики Новгородской, — республики, испробованной в продолжение нескольких веков на славянской почве, — и, наконец, 3) двукратное спасение России единственно усилением авторитета, усилением самодержавия: первый раз от татар, второй раз в реформу Петра Великого, когда только одна теплая, детская вера в своего великого кормчего дала России возможность перенести такой крутой поворот в новую жизнь. Да и кто у нас думает о республике? Если и предстоят реформы, то даже для тех, кто желает их, будет ясно как день, что должны эти реформы истечь именно из авторитета, даже еще более усиленного на то время; а иначе дело должно произойти революционерным образом. Не думаю, чтоб нашелся в России любитель русского бунта. Примеры известны и до сих пор памятливы, хотя случились давно. В заключение я припомнил теперь слова свои, несколько раз повторявшиеся мною: что всё, что только было хорошего в России, начиная с Петра Великого, всё то постоянно выходило свыше, от престола, а снизу до сих пор ничего не выказывалось, кроме упорства и невежества. Это мнение мое известно многим из тех, кто меня знает.

Я говорил об цензуре, об ее непомерной строгости в наше время и сетовал об этом; ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого и вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя, уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением. Мне грустно слышать, что запрещается иное произведение не потому, чтобы в нем нашли что-нибудь либерального, вольнодумного, противного нравственности, а, например,

потому, что повесть или роман слишком печально кончается, что выставлена слишком мрачная картина, хотя бы эта картина не обвиняла и не заподозревала никого в обществе и хотя бы самая трагедия произошла совершенно случайным и внешним образом. Пусть разберут всё, что я написал, напечатанного и ненапечатанного, пусть просмотрят рукописи уже напечатанных сочинений и увидят, каковы они были до поступления к цензору, — пусть найдут в них хоть одно слово, противное нравственности и установленному порядку вещей. А между тем я именно подвергся подобному запрещению собственно за то, что картина написана была слишком мрачными красками. Но если б знали, в какое мрачное положение поставлен был автор запрещенного сочинения! Он увидел перед собой необходимость просидеть хуже чем без хлеба целых три месяца, ибо работа давала мне средства к существованию. Да кроме того, среди лишений, грусти, почти отчаяния (ибо, откинув денежный вопрос, — тяжело до отчаяния видеть свое произведение, которое любил, над которым потратил труд, здоровье, лучшие силы душевные, — запрещенным от *недоразумения*, от *подозрения*), итак, кроме того, среди лишений, грусти, отчаяния нужно еще найти столько легких, веселых часов, чтобы написать в это время новое литературное произведение красками светлыми, розовыми, приятными. А написать непременно нужно, потому что нужно существовать. Если я говорил, если я немножко жаловался (а я жаловался так немного!), — то неужели я вольнодумствовал? И на что я жаловался? На *недоразумение*. Именно: я бился из всех сил, доказывая, что каждый литератор уже заподозрен заранее, что на него смотрят с недоумением, с недоверием, и обвинял самих же литераторов в том, что они сами не хотят изыскивать средств для разрешения пагубного недоразумения. Пагубного, потому что литературе трудно существовать при таком напряженном положении. Целые роды искусства должны исчезнуть: сатира, трагедия уже не могут существовать. Уже не могут существовать при строгости нынешней цензуры такие писатели, как Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин. Сатира осмеивает порок, и чаще всего порок под личиною добродетели. Как может быть теперь хоть какое-нибудь осмеяние? Цензор во всем видит намек, заподозревает, нет ли тут какой личности, нет ли желчи, не намекает ли писатель на чье-либо лицо и на какой-нибудь порядок вещей. Мне самому случалось очень часто, забывши грусть, захохотать над тем, что нашел цензор *вредным для общества* и *неспособным к напечатанию* в моих или чьих чужих рукописях. Смеялся я потому, что никому, кроме цензора, в настоящее время не придет в голову подобных подозрений. В самой невиннейшей, чистой фразе подозревается преступнейшая мысль, которую видно, что цензор преследовал с напряжением умственных сил, как вечную,

неподвижную идею, которая не может покинуть его головы, которую он сам создал, колеблемый страхом и подозрениями, сам воплотил ее в своем воображении, сам расцвел небывальными страшными красками и наконец уничтожил свой фантом вместе с невинной причиной его страха — безгрешной первоначальной фразой писателя. Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости. Да и можно ли писать одними светлыми красками? Каким образом светлая сторона картины будет видна без мрачной, может ли быть картина без света и тени вместе? О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень. Говорят: описывай одни доблести, добродетели. Но добродетели мы и не узнаем без порока; самые понятия *добра* и *зла* произошли оттого, что добро и зло постоянно жили вместе, рядом друг с другом. Но подумай только я выставить на сцену невежество, порок, злоупотребления, спесь, насилие! Цензор тотчас же заподозрит меня и подумает, что я говорю про всё вообще без изъятия. Я не стою за изображение порока и мрачной стороны жизни! И тот и другая вовсе не милы мне. Но я говорю единственно только в интересах искусства.

Видя, убедясь наконец, что между литературой и цензурой происходит недоразумение (одно недоразумение и больше ничего!), — я сетовал, я молил, чтобы это печальное недоразумение прошло поскорее. Потому что я люблю литературу и не могу не интересоваться ею; потому что я знаю, что литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало общества. С образованием, с цивилизацией являются новые понятия, которые требуют определения, названия русского, чтоб быть переданными народу; ибо не народ может назвать их в настоящем случае, затем что цивилизация не от него идет, а свыше; назвать их может только то общество, которое прежде народа приняло цивилизацию, то есть высший слой общества, класс уже образованный для принятия этих идей. Кто же формулирует новые идеи в такую форму, чтоб народ их понял, — кто же, как не литература! Реформа Петра Великого не принялась бы так легко в народе, который и не понял бы, чего хотят от него. А каков был русский язык при Петре Великом? Наполовину русский, наполовину немецкий, потому что наполовину жизни немецкой, понятий немецких, нравов немецких привилось к жизни русской. Но русский народ не говорит по-немецки, и явление Ломоносова сейчас после Петра Великого было не случайное. Без литературы не может существовать общество, а я видел, что она угасала, и, в десятый раз повторяю, недоразумение, возникшее между литературой и цензорами, волновало меня, мучило меня. Я говорил, — но я говорил только о со-

гласии, о соединении, об уничтожении недоразумения. Я не поджигал кругом меня никого, *потому что я верил*. Да и говорил-то я только с самыми короткими приятелями, с своими товарищами-литераторами. Это ли вредное вольнодумство?!

Меня обвиняют в том, что я прочел статью «Переписка Белинского с Гоголем» на одном из вечеров у Петрашевского. Да, я прочел эту статью, но тот, кто донес на меня, может ли сказать, к которому из переписывавшихся лиц я был пристрастнее? Пусть он припомнит, было ли не только в суждениях моих (от которых я воздержался), — но хоть бы в интонации голоса, в жесте моем во время чтения что-нибудь способное выказать мое пристрастие к одному лицу, преимущественно, чем к другому из переписывавшихся? Конечно, он не скажет того. Письмо Белинского написано слишком странно, чтоб возбудить к себе сочувствие. Ругательства отвращают сердце, а не привлекают его; а всё письмо начинено ими и желчью написано. Наконец, вся статья образец бездоказательности — недостаток, от которого Белинский никогда не мог избавиться в своих критических статьях и который усиливался по мере истощения нравственных и физических сил его в болезни. Письма эти написаны в последний год его жизни, во время пребывания за границею. Несколько времени я был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходнейший человек как человек. Но болезнь, сведшая его в могилу, сломала в нем даже и человека. Она ожесточила, очерстила его душу и залила желчью его сердце. Воображение его, расстроенное, напряженное, увеличивало всё в колоссальных размерах и показывало ему такие вещи, которые один он и способен был видеть. В нем явились вдруг такие недостатки и пороки, которых и следа не было в здоровом состоянии. Между прочим, явилось самолюбие, крайне раздражительное и обидчивое. В журнале, в котором он числился сотрудником и где за болезнью очень мало работал, — ему связывала редакция руки и уже не давала писать слишком серьезных статей. Это оскорбляло его. И вот в этом-то состоянии он написал письмо свое Гоголю. В литературном мире небыизвестно весьма многим о моей ссоре и окончательном разрыве с Белинским в последний год его жизни⁴. Известна тоже и причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о литературе и о направлении литературы. Взгляд мой был радикально противоположный взгляду Белинского. Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ей назначение, низводя ее единственно до описания, если можно выразиться, *одних газетных фактов* или скандальных происшествий. Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому, хватая встречного и поперечного на улице, останавливая каждого прохожего за пуговицу фрака и начиная насильно проповедовать ему и учить его уму-разуму.

Белинский рассердился на меня и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре, так что и не видались, наконец, друг с другом в продолжение всего последнего года его жизни. Я давно желал прочесть эти письма. В моих глазах эта переписка — довольно замечательный литературный памятник. И Белинский, и Гоголь — лица очень замечательные. Сношения их между собою весьма любопытны — тем более для меня, который был знаком с Белинским. Петрашевский случайно увидел эти письма в моих руках, спросил: «Что такое?» — и я, не имея времени показать ему эти письма тотчас, обещал их привезть к нему в пятницу. Сам я вызвался и уже потом должен был сдержать слово. Я прочел эту статью ни более ни менее как литературный памятник, твердо уверенный, что она никого не может привести в соблазн, хотя она и не лишена некоторого литературного достоинства. Что до меня касается, я буквально не согласен ни с одним из преувеличений, находящихся в ней. Теперь я прошу взять в соображение следующее обстоятельство: стал ли бы я читать статью человека, с которым был в ссоре именно за идеи (это не тайна; это очень многим известно), да еще писанную в болезни, в расстройстве умственном и душевном, — стал ли бы я читать эту статью, выставя ее как образец, как формулу, которой нужно следовать? Я только теперь понял, что сделал ошибку и что не следовало мне читать этой статьи вслух; но тогда я не спохватился; ибо даже и не подозревал того, в чем могут обвинить меня, не подозревал за собой греха. Из уважения к человеку, уже умершему, замечательному в свое время, которого многие уважают за некоторые литературно-эстетические статьи его, написанные действительно с большим знанием литературного дела, — наконец, из щекотливого чувства по поводу ссоры нашей за идеи, которая многим известна, я прочел всю переписку, воздержавшись от всяких замечаний и с полным беспристрастием.

Я упомянул, что я говорил о политике, о цензуре и т. д. Но я только напрасно сказал на себя. Мне хотелось только высказать образ идей моих. Никогда я не говорил у Петрашевского об этих предметах. Говорил я у него только три раза или, лучше сказать, два раза. Раз о *литературе* по поводу спора с Петрашевским из-за Крылова и другой раз о *личности* и об *эгоизме*. Вообще я человек неразговорчивый и не люблю громко говорить, там, где есть мне незнакомые. Образ мыслей моих и я весь известен только очень немногим моим приятелям. От больших споров я удаляюсь и люблю уступить, только бы меня оставили в покое. Но я был вызван на этот литературный спор, темой которого, с моей стороны, было то, что искусство не нуждается в направлении, что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея придет сама собою; ибо она необходимое условие художественности. Одним словом, *известно, что это на-*

правление диаметрально противоположно газетному и пожарному. Многим тоже известно, что это направление мое уже в продолжение нескольких лет. Наконец, спор наш слышали все у Петрашевского; все могут засвидетельствовать то, что я говорил. Кончилось тем, что оказалось, что Петрашевский со мною одних идей о литературе; но что мы не понимали друг друга. Об этом заключении тоже все слышали. И я заметил, наконец, что весь спор вышел отчасти из самолюбия; потому что я заподозрил раз Петрашевского в отчетливом знании по этому предмету. Что же касается до второй темы: о личности и эгоизме, то в ней я хотел доказать, что между нами более амбиции, чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоуменьшение, в размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий. Эта тема чисто психологическая. <...>

Вот мой ответ. Я передал истину.

